

# Первая любовь, последнее помазание

**Автор:**

[Иэн Макьюэн](#)

Первая любовь, последнее помазание

Иэн Макьюэн

Эксклюзивная коллекция. Внутри сферы. Проза Иэна Макьюэна

Это сейчас Иэн Макьюэн всему миру знаком как классик английской литературы. Но когда-то он, как и все, был лишь новичком в литературном мире. «Первая любовь, последнее помазание» – первый из опубликованных им сборник рассказов. Эта книга для каждого, кому интересно, как начинал свой путь Макьюэн, она написана с дерзостью юноши и талантом настоящего гения.

В своих ранних рассказах автор демонстрирует широкий спектр стилистических экспериментов. «Это была для меня своего рода лаборатория, – говорил он в интервью, – способ опробовать различные регистры, найти себя как писателя». В макьюэновской лаборатории правнук выдающегося математика-любителя XIX века повторяет прадедовы опыты в области стереометрии человеческих тел. Подростки устраивают мужское троеборье «курение – выпивка – женщины», а жертва тяжелого детства даст интервью, не вылезая из шкафа. Три рассказа из этого сборника были экранизированы – заглавный, «Стереометрия» и «Бабочки» дважды.

Иэн Макьюэн

Первая любовь, последнее помазание

© Арканов В., перевод на русский язык, 2022

## Стереометрия

В Мелтон-Моубрее в 1875 году на аукционе предметов «любопытных и ценных» мой прадед в присутствии своего друга М. назначил цену за пенис капитана Николса, умершего в тюрьме Хорсмонгер в 1873 году. Он содержался в стеклянной колбе длиной в тридцать сантиметров и, по замечанию прадеда, оставленному той ночью в дневнике, находился в «состоянии изумительной сохранности». На аукционе также продавалась «неназванная часть покойной леди Барримор. Она отошла к Сэму Израэлсу за пятьдесят гиней». Поначалу прадед намеревался приобрести оба предмета, но его отговорил М. Это лучше всего характеризует их дружбу. Дед – увлекающийся теоретик, М. – практик, знающий, как побеждать на торгах. Прадед прожил шестьдесят девять лет. Сорок пять из них на исходе каждого дня перед отходом ко сну он садился и записывал свои соображения в дневник. Его дневники теперь на моем столе, сорок пять томов в переплетах из телячьей кожи, а слева от них стоит капитан Николс в стеклянной колбе. Мой прадед жил с прибылью, приносимой патентом на изобретение его отца – удобную застежку, которой пользовались все изготовители корсетов вплоть до начала Первой мировой войны. Прадед любил сплетни, числа и гипотезы. Он также любил табак, хороший портвейн, тушеного в горшочке кролика и изредка опиум. Он считал себя математиком, хотя никогда нигде не служил и не издал ни одного научного труда. Он также ни разу не путешествовал и не удостоился упоминанием в «Таймс» даже в связи со своей кончиной. В 1869 году он женился на Элис, единственной дочери преподобного Тоби Шедвела, соавтора не слишком уважаемого изыскания об английских диких цветах. По моему глубокому убеждению, истинным призванием прадеда было ведение дневников, и, когда я закончу их редактировать и опубликую, уверен, что он получит запоздалое признание. Закончив работу, я собираюсь взять долгий отпуск, уехать куда-нибудь, где холодно, чисто и голо, – в Исландию или русскую степь. Еще я думал, что под конец попробую, если удастся, развестись со своей женой Мейси, но теперь в этом нет необходимости.

Бывало, Мейси часто вскрикивала во сне, и мне приходилось ее будить.

– Обними меня, – обычно говорила она. – Какой ужасный сон мне приснился. Уже не первый раз. Я лечу в самолете над пустыней. Только не над обычной пустыней. Снижаюсь и вижу, что она завалена грудями новорожденных младенцев, повсюду, насколько хватает глаз, и все – голенькие, копошащиеся. В самолете топливо на исходе, и надо куда-то сесть. Я ищу место, лечу и лечу, не могу найти свободного...

– Теперь спи, – говорил я, зевая. – Это всего лишь сон.

– Нет. – И она начинала плакать. – Мне не время спать, еще не время.

– А мне самое время, – говорил я. – Завтра ранний подъем.

Она трясла меня за плечо:

– Ну, пожалуйста, подожди засыпать, не оставляй меня.

– Мы в одной постели, – говорил я. – Я тебя не оставлю.

– Какая разница, не оставляй меня, пока я не засну...

Но мои глаза уже слипались.

В последнее время я перенял прадедушкину привычку. Перед отходом ко сну присаживаюсь на полчаса обдумать прошедший день. У меня нет математических разработок или сексуальных теорий, достойных упоминания. В основном я записываю, что Мейси сказала мне и что я сказал Мейси. Иногда для пущей концентрации запираюсь в ванной, сажусь на унитаз и пристраиваю блокнот на коленях. Помимо меня ванную облюбовала пара пауков. Они ползут вверх по водосточной трубе и замирают, съежившись, на ослепительно-белом кафеле. Должно быть, гадают, куда это их занесло. После нескольких часов ожидания уползают, озадаченные, а возможно, и разочарованные, что так и не смогли ничего понять. Насколько можно судить, у прадеда встречается лишь одно упоминание о пауках. 8 мая 1906 года есть запись: «Бисмарк – паук».

По вечерам Мейси обычно приносила мне чай и пересказывала свои ночные кошмары. Я как раз просматривал старые газеты, каталогизировал, составлял

перечни, откладывал один томик, брал другой. Мейси говорила, что неважно себя чувствует. С недавних пор она перестала выходить из дома, то и дело листая книги по психологии и оккультизму, – кошмары мучили ее почти каждую ночь. После нашего обмена ударами, когда мы подстерегли друг друга у дверей ванной, чтобы отлупцевать одним и тем же ботинком, я перестал ей сочувствовать. Отчасти виной всему была ревность. Она очень приревновала меня... к сорокапятитомному прадедушкиному дневнику, к той решимости и энергии, с которыми я его редактировал. Ей нечем было себя занять. Я откладывал один томик и брал другой, когда Мейси явилась со своим чаем.

– Можно я расскажу, что мне приснилось? – спросила она. – Я лечу в самолете над пустыней. Только не над обычной пустыней...

– Давай потом, Мейси, – сказал я. – Мне сейчас некогда.

После ее ухода я долго смотрел на стену перед моим рабочим столом и думал про М., который регулярно навещался к прадеду поболтать и пообедать на протяжении пятнадцати лет вплоть до своего необъяснимого исчезновения в один из вечеров 1898 года. М., кто бы под этим инициалом ни скрывался, был в некотором роде ученый, помимо того что практик. Например, вечером 9 августа 1870 года эти двое обсуждают различные позы для занятий любовью, и М. сообщает моему прадеду, что совокупление *a posteriori* – наиболее естественный способ, обусловленный положением клитора, поскольку другие антропоиды отдают предпочтение этому методу. Прадеда, испытавшего физическую близость от силы полдюжины раз в жизни и исключительно с Элис в первый год после свадьбы, интересовали взгляды церкви на этот вопрос, и М. незамедлительно отвечал, что еще в VII веке теолог Теодор полагал совокупление *a posteriori* грехом, равным по тяжести рукоблудию и потому требующим наложения сорока епитимий. В тот же вечер, но позже, прадед представил математическое доказательство того, что максимальное число любовных позиций не может превысить простое число семнадцать. М. поднял его на смех, утверждая, что видел собрание карандашных рисунков Романо, ученика Рафаэля, с изображением двадцати четырех. Не говоря уж о том, что слышал о некоем господине Ф. К. Форберге, который насчитал все девяносто. Когда я вспомнил про чай, оставленный Мейси возле моего локтя, он был уже совсем холодным.

В новый этап заметного ухудшения супружеских отношений мы вступили следующим образом. Однажды вечером я сидел в ванной, записывая наш с

Мейси разговор о картах Таро, как вдруг она напомнила о себе снаружи, стуча в дверь и теребя дверную ручку.

- Открой, - попросила она. - Мне надо войти.

Я сказал:

- Тебе осталось потерпеть совсем немного. Я почти закончил.

- Впусти сейчас же! - закричала она. - Ты все равно не пользуешься туалетом.

- Подожди, - ответил я и записал еще строчку-другую.

Теперь Мейси колошматила в дверь изо всех сил.

- У меня начались месячные, и мне надо кое-что взять.

Я не реагировал на ее вопли и довел запись до конца, что было абсолютно необходимо. Оставь ее на потом - и некоторые детали будут утеряны. Мейси совершенно затихла, и я заключил, что она удалилась в спальню. Однако стоило открыть дверь, как она преградила мне путь с ботинком в руке. Ботинок опустился на мою голову так стремительно, что я даже толком не успел уклониться. Край каблука чиркнул по уху, раскроив его.

- Так-то, - сказала Мейси, огибая меня, чтобы войти в ванную. - Теперь мы оба истекаем кровью.

И она с грохотом захлопнула дверь. Я подобрал ботинок и стал ждать тихо и терпеливо у входа в ванную, прижимая к кровоточащему уху носовой платок. Мейси пробыла там минут десять, а когда вышла, я аккуратно и четко саданул ей тем же каблуком в самый центр макушки. У нее не было шанса уклониться. Она замерла на миг, глядя мне прямо в глаза.

- Гаденыш, - выдохнула она и устремилась на кухню нянчиться со своей головой подальше от моих глаз.

Вчера за ужином Мейси заявила, что человеку, запертому в одиночной камере с картами Таро, открыт доступ к любым познаниям. Незадолго до этого она гадала, и карты были разбросаны по всему полу.

- Сумеет ли он узнать схему улиц Вальпараисо из своих карт? - спросил я.

- Не прикидывайся дурачком, - ответила она.

- Подскажут ли они ему, как легче всего открыть прачечную, или приготовить омлет, или собрать аппарат искусственной почки?

- До чего же ты скудоумный, - посетовала она. - Такой недалекий, такой предсказуемый.

- Сможет ли он, - настаивал я, - сказать мне, кто такой М. и почему...

- Все эти вещи не имеют значения! - закричала она. - Они не важны.

- Но это тоже познания. Разве у него будет к ним доступ?

Она задумалась.

- Да, будет.

Я улыбнулся и промолчал.

- Что тут смешного? - сказала она.

Я пожал плечами, а она начала злиться. Ей хотелось продолжать спор.

- Зачем ты задавал все эти бессмысленные вопросы?

Я снова пожал плечами:

- Просто хотел уточнить, что ты имела в виду, говоря о любых познаниях.

Мейси стукнула кулаком по столу и завопила:

– Будь ты проклят! Почему ты все время меня подлавливаешь? Почему никогда не принимаешь всерьез?

И здесь мы оба поняли, что уткнулись в тупик, который был конечным пунктом всех наших разговоров, и воцарилось обиженное молчание.

Работа над дневниками не может продолжаться, покуда мне не удастся раскрыть тайну, окутывающую М. На протяжении пятнадцати лет он то и дело является к обеду, щедро снабжая моего прадеда сведениями для его гипотез, а затем просто исчезает со страниц дневника. Во вторник, 6 декабря, прадед пригласил М. отобедать в будущую субботу, и, хотя М. пришел, в записях того дня прадед просто отмечает: «М. к обеду». Во все остальные дни их беседы за трапезой воспроизводятся подробнейшим образом. М. обедал и в понедельник, 5 декабря, и разговор тогда шел о геометрии. Все последующие записи до конца недели посвящены этому предмету. Нет и намека на враждебность. К тому же прадед нуждался в М. М. снабжал его сведениями, М. был в курсе дел, он прекрасно знал Лондон и не раз наведывался в Европу. Он глубоко разбирался в социализме и Дарвине, был знаком с одним из участников движения «Свободной любви», приятелем Джеймса Хинтона[1 - Джеймс Хинтон (1822–1875) – знаменитый ушной хирург, автор многочисленных работ по медицине и социально-нравственным проблемам своего времени. (Здесь и далее прим. перев.)]. М. был человеком света в том смысле, в каком прадед, лишь однажды решившийся покинуть пределы Мелтон-Моубрея для путешествия в Ноттингем, таковым не был. Даже в юности прадед предпочитал строить свои гипотезы, не отходя от камина; ему вполне хватало сведений, которыми снабжал его М. Например, как-то вечером в июне 1884 года М., полный свежих впечатлений от Лондона, нарисовал прадеду картину того, как улицы города загажены и буквально устланы конским дерьмом. На той же неделе прадеду случилось читать трактат Мальтуса[2 - Томас Мальтус (1766–1834) – английский священник и ученый, демограф и экономист, автор теории, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на Земле.] под названием «Опыт о законе народонаселения». В тот вечер он сделал в дневнике взволнованную запись о статье, которую задумал написать и издать. Она должна была называться «De Stercore Equorum». Статья так и не увидела свет, а возможно, даже не была написана, но подробные наброски к ней встречаются в дневниковых записях на протяжении двух недель после того вечера. В «De Stercore Equorum» («К вопросу о конском дерьме») он исходит из

того, что численность лошадей будет расти в геометрической прогрессии, и, соотнося это с подробным планом города, предсказывает столице полнейшую непроходимость к 1935 году. «Непроходимыми» он предлагает считать улицы, на которых средняя толщина экскрементального покрова составляет тридцать (утрамбованных) сантиметров. Он описывает опыты, проведенные вблизи его личных конюшен для определения степени трамбуемости конского дерьма, которую он сумел выразить математически. Все это, конечно же, чисто гипотетически. Полученные им результаты базировались на допущении, что в предстоящие пятьдесят лет дерьмо с улиц вообще убираться не будет. Вполне вероятно, что именно М. отговорил прадеда от этой затеи.

Как-то утром после долгой и мрачной ночи Мейсиных кошмаров мы лежали в постели рядом, и я сказал:

– Чего же ты все-таки хочешь? Что тебе мешает вернуться на работу? Все эти долгие прогулки, психоанализ, шатание по дому, нежелание вылезать из постели по утрам, карты Таро, кошмары... Чего ты хочешь?

И она сказала:

– Хочу навести порядок в своей голове, – фразу, которую я неоднократно от нее слышал.

– Голова, мозг – это тебе не гостиница, знаешь ли, – сказал я. – Барахло оттуда не выкинешь, как старую консервную банку. Если уж на то пошло, то это скорее река, а не место – движется, изменяется. Реку не упорядочишь.

– Опять ты со своими штучками, – сказала она. – Я же не собираюсь упорядочивать реки. Только навести порядок в своей голове.

– Займись уже чем-нибудь, – сказал я. – Сколько можно бездельничать. Почему не пойти опять на работу? Тебя не мучили кошмары, пока ты работала. Ты никогда не была так подавлена, пока работала.

– Мне необходим перерыв, – сказала она. – Я больше не понимаю, что все это значит.



– Мода, – сказал я. – Это все из-за моды. Модные метафоры, модное чтение, модные недуги. Ну, какое тебе дело до Юнга, например? Ты прочла двенадцать страниц за месяц.

– Остановись, – взмолилась она. – Ты знаешь, куда это заводит.

Но я продолжил.

– Нигде не бывала, – обличал я, – ничем стоящим не занималась. Пай-девочка, обделенная даже таким подарком судьбы, как несчастное детство. Эти твои сентиментальный буддизм, доморощенный мистицизм, ароматерапия, журнальная астрология... все это заемное, ты ни к чему не пришла сама. Купилась, угодила в болото авторитетных домыслов. А у самой нет ни внутренней независимости, ни азарта хотя бы на уровне интуиции постигнуть что-нибудь, кроме собственного несчастья. Зачем захламлять мозг банальной мистикой других, особенно если у тебя из-за нее кошмары?

Я встал с постели, распахнул шторы и начал одеваться.

– Ты говоришь как на литературном семинаре, – сказала Мейси. – Почему ты всегда стараешься меня уязвить?

Жалость к себе готова была забить из нее фонтаном, но она сдержала напор.

– Когда ты говоришь, – продолжала она, – я начинаю чувствовать себя листом бумаги, который сворачивают в трубочку.

– Возможно, это и есть литературный семинар, – безжалостно подытожил я.

Мейси уселась в постели, глядя на свои колени. Внезапно ее тон изменился. Она похлопала рукой по подушке рядом с собой и сказала вкрадчиво:

– Подойди ко мне. Сядь сюда. Я хочу тебя обнять, хочу, чтобы ты меня обнял...

Я демонстративно вздохнул и отправился на кухню.

На кухне я сварил кофе и отнес его в кабинет. Той ночью во время одного из бесчисленных пробуждений мне пришло в голову, что возможная разгадка исчезновения М. кроется на страницах, посвященных геометрии. Раньше я всегда их пропускал за отсутствием интереса к математике. В понедельник, 5 декабря 1898 года, М. с прадедом обсуждали *vescia piscis* [З - «Рыбий пузырь» (лат.) - фигура сакральной геометрии, которая получается при пересечении двух кругов одинакового радиуса, когда центр каждого круга лежит на окружности другого.], который, по всей видимости, послужил поводом для первой теоремы Евклида и оказал значительное влияние на разработку планов строительства многих древних религиозных сооружений. Я внимательно прочитал запись беседы, стараясь в меру своих способностей вникнуть в суть геометрии. Затем, перевернув страницу, обнаружил пространную историю, которую М. рассказал прадеду в тот же вечер, когда подали кофе и раскурили сигары. Едва я начал читать, как вошла Мейси.

- Ну а сам-то, - сказала она, продолжая разговор, оборванный больше часа назад. - Сидишь со своими книгами. Ползаешь по прошлому, как навозная муха.

Я, конечно, рассердился, но не подал виду и сказал с улыбкой:

- Ползаю? Что ж, я-то, по крайней мере, двигаюсь.

- Ты больше со мной не разговариваешь, - сказала она. - Играешь на мне, как в пинбол, на очки.

- Доброе утро, Гамлет, - ответил я и выпрямился в кресле, терпеливо ожидая ее следующей реплики.

Но реплики не последовало, она ушла, аккуратно притворив за собой дверь.

- В сентябре тысяча восемьсот семидесятого года, - начал свой рассказ М., - в моем распоряжении оказались некие документы, которые не только перечеркивают все принципы, лежащие в основе нашего представления о стереометрии, но также сводят на нет полный свод физических законов, заставляя задуматься о пересмотре бытующих представлений о месте человека в природной иерархии. Эти бумаги превосходят по важности труды Маркса и Дарвина, вместе взятых. Они были вверены мне молодым американским математиком, и в них содержатся выкладки Дэвида Хантера, тоже математика и

шотландца. Фамилия американца – Гудман.

На протяжении ряда лет я состоял в переписке с его отцом касательно его работ по теории цикличности менструации, каковая теория, что удивительно, все еще сплошь и рядом ставится под сомнение в этой стране. С младшим Гудманом я познакомился в Вене, где наряду с Хантером и другими математиками из дюжины разных стран он участвовал в математической конференции. В день нашего знакомства Гудман был бледен и чем-то крайне взволнован и намеревался отбыть в Америку на другой день, хотя конференция еще и наполовину не завершилась. Он передал бумаги на мое попечение с условием, что я возвращу их Дэвиду Хантеру, если когда-либо узнаю о его местонахождении. И затем, лишь после долгих уговоров и настояний с моей стороны, поведал о том, чему стал свидетелем на третий день конференции. Заседания начинались ежедневно в девять тридцать утра с доклада и следовавшей за ним дискуссии. В одиннадцать подавали закуски и напитки, и многие математики вставали из-за длинного, отполированного до блеска стола, за которым они заседали, и прогуливались по большой изящной гостиной, непринужденно беседуя с коллегами. Продолжалась конференция две недели, и по давно заведенной традиции первыми с докладами выступали наиболее маститые математики, за ними шли менее маститые, и так далее в обратной последовательности на протяжении двух недель, что время от времени вызывало, как это нередко случается в среде высокообразованных мужей, приступы жгучей ревности. Хантер, несмотря на свои выдающиеся математические способности, был молод и практически неизвестен за пределами своего университета (Эдинбургского). Он подал заявку на доклад по стереометрии – исключительно важный, по его словам, но, не имея никакого веса в этом прославленном пантеоне, получил право прочесть его в предпоследний день, когда многие из наиболее влиятельных участников конференции уже разъехались бы по своим странам. Поэтому утром третьего дня, едва появилась прислуга с закусками и напитками, Хантер резко встал и обратился к коллегам, которые еще только начинали подниматься со своих мест. Он был крупный, заросший густыми космами и, несмотря на молодость, обладал очевидным даром обращать на себя внимание, отчего возникший было гул голосов стих и воцарилась полная тишина.

– Господа, – сказал Хантер, – прошу простить мою непозволительную дерзость, но я должен сообщить вам нечто чрезвычайно важное. Я открыл плоскость, лишенную поверхности.

Не обращая внимания на насмешливые взгляды и удивленные сдержанные смешки, Хантер взял со стола большой лист белой бумаги. Карманным ножом он сделал надрез на его поверхности длиной сантиметров в семь, чуть в стороне от центра. Затем особым диковинным образом молниеносно его сложил и, держа лист над столом, чтобы все видели, стал продевать один из его концов в разрез, в процессе чего лист исчез.

– Смотрите, господа, – сказал Хантер, демонстрируя собравшимся пустые ладони. – Плоскость, лишённая поверхности.

В комнату вошла Мейси, умытая и нежно пахнущая душистым мылом. Вошла и встала у меня за спиной, положив руки мне на плечи.

– Что ты читаешь? – спросила она.

– Пропущенные отрывки из дневника.

Она принялась слегка массировать основание моей шеи. В первый год после замужества это доставляло мне удовольствие. Но теперь шел шестой, и я не ощутил ничего, кроме растущего напряжения, спускавшегося вниз по позвоночнику. Мейси чего-то добивалась. Чтобы это пресечь, я положил свою правую руку на ее левую, но она приняла это за ласку и, нагнувшись, поцеловала меня за ухом. От нее пахло зубной пастой и гренками. Она потянула меня за плечо.

– Пойдем в спальню, – зашептала она. – У нас уже почти две недели не было близости.

– Знаю, – ответил я. – Ты должна понять: это все из-за работы.

Ни Мейси, ни любая другая женщина не пробуждали во мне никаких эмоций. Единственное, чего я хотел, – это перевернуть очередную страницу прадедушкиного дневника. Мейси убрала руки с моих плеч и теперь просто стояла рядом. Ее молчание вдруг сделалось настолько угрожающим, что я весь напрягся, точно спринтер на старте. Она потянулась вперед и взяла запечатанную колбу с капитаном Николсом. Его пенис задумчиво проплыл из

одного конца склянки в другой.

– Какой же ты СЕБЯЛЮБ! – провонила Мейси за мгновение до того, как запустить стеклянную колбу в стену перед моим столом.

Я инстинктивно закрыл лицо руками, защищаясь от осколков. А когда снова открыл глаза, услышал себя, точно издали, говорящим:

– Зачем ты это сделала?! Прадедушкина вещь...

Среди осколков и усиливающихся испарений формалиновой вони лежал капитан Николс, распластавшись на кожаной обложке одного из дневников, серый, обмякший и омерзительный, преобразившийся из антикварной диковины в дикую непристойность.

– Ты совершила ужасный поступок. Зачем ты это сделала? – снова спросил я.

– Пойду прогуляюсь, – ответила Мейси и на этот раз громко хлопнула дверью, выходя из комнаты.

Я долго не мог подняться с кресла. Мейси уничтожила необычайно дорогой для меня предмет. Пока прадед был жив, он стоял в его кабинете, а потом стоял в моем, связывая наши жизни. Я собрал с колен осколки стекла и долго смотрел на 160-летнюю часть тела чужого человека на своем столе. Смотрел и думал о тех бесчисленных гомункулах, что некогда копошились в его недрах. Я представил себе места, в которых он побывал – Кейптаун, Бостон, Иерусалим, – и как ему приходилось путешествовать во тьме вонючих капитанских подштанников, лишь изредка выныривая на свет божий для мочеиспускания в какой-нибудь затхлой общественной уборной. Я представил себе вещи, которых он мог касаться, все эти молекулы, оставшиеся на нем от блудливых капитанских рук в одинокие, лишенные женских ласк ночи далеких плаваний или от потных стенок влагилиц юных дев и старых шлюх (их молекулы, должно быть, живы и по сей день – мелкая пыль, гонимая ветром от Чипсайда[4 - Одна из крупных лондонских улиц.] до Лестершира[5 - Графство, в котором находится город Мелтон-Моубрей.]). Кто знает, как долго он мог бы еще просуществовать в своей стеклянной темнице. Я начал прибираться. Принес из кухни мусорное ведро. Смел и подобрал все осколки, какие сумел найти, вытер тряпкой формалин. Затем, подцепив член пальцами за один конец, попробовал перетащить

капитана Николса на газету. Меня чуть не стошнило от вида натянувшейся крайней плоти. Наконец, с закрытыми глазами, я справился и, многократно свернув газету, вынес капитана в сад и похоронил под геранями. Все это время я изо всех сил гнал от себя мысль о том, как отомстить Мейси. Мне не терпелось узнать продолжение истории М. Снова усевшись в кресло, я промокнул несколько капель формалина, размывших чернила, и вновь углубился в чтение.

Почти минуту присутствовавшие пребывали в оцепенении, которое, казалось, усиливалось с каждой последующей секундой. Первым решился заговорить профессор Стенли Роз из Кембриджского университета – плоскость, лишенная поверхности, могла стоить ему репутации (весьма значительной, надо сказать, зиждившейся на его «Началах стереометрии»).

– Как вы смеете, сэ. Как вы смеете оскорблять сие благородное собрание своим дешевым трюкачеством.

И, уловив шепоток одобрения, прокатившийся у него за спиной, прибавил:

– Стыдно, молодой человек, очень и очень стыдно.

Вслед за тем зал зарокотал подобно вулкану.

За вычетом младшего Гудмана и прислуги, застывшей подле внесенных закусок и напитков, все накинулись на Хантера со сбивчивыми тирадами осуждений, проклятий и угроз. Одни в ярости били кулаками по столу, другие потрясали ими над головой. Некоего господина из Германии (весьма болезненного вида) хватил апоплексический удар, и его подняли с пола и усадили на стул. А Хантер стоял как скала, игнорируя нападки, слегка склонив голову в сторону, касаясь пальцами поверхности длинного полированного стола. То, что столь бурный протест был спровоцирован якобы дешевым трюкачеством, служило лучшим доказательством степени обеспокоенности собравшихся, и Хантеру это, безусловно, импонировало. Подняв руку и дождавшись вмиг наступившей тишины, он сказал:

– Господа, ваши сомнения объяснимы, и сейчас я приведу еще одно доказательство – на этот раз неопровержимое.

С этими словами он сел и снял ботинки, затем встал и снял пиджак, после чего объявил, что нуждается в ассистенте, и в этот момент к нему подошел Гудман. Рассекая толпу, Хантер широким шагом прошествовал к дивану, стоявшему вдоль одной из стен, и, пока укладывался, попросил озадаченного Гудмана, чтобы тот, возвращаясь в Англию, захватил с собой его бумаги и сохранил их до тех пор, пока Хантер за ними не явится. Когда математики окружили диван, Хантер перевернулся на живот и соединил руки за спиной так, что получилось подобие обруча. Попросив Гудмана держать ему руки в таком положении, он перекатился на бок и с помощью нескольких энергичных рывков умудрился пропустить через обруч одну ногу. Далее он попросил ассистента перевернуть его на другой бок, где произвел еще несколько рывков, позволивших ему пропустить между рук и вторую ногу, в то время как его туловище сложилось настолько, что голова также оказалась нацеленной внутрь обруча, но в противоположном ногам направлении. При помощи ассистента он стал медленно пропускать через обруч одновременно ноги и голову. Тогда-то светила науки и издали хором короткий сдавленный звук, не желая верить тому, что видели. Хантер медленно исчезал, а теперь, когда его ноги и голова проходили сквозь руки со все возрастающей легкостью, точно повинуюсь некой невидимой силе, исчез почти вовсе. Еще миг... И его больше не было, совсем не было, ничего не осталось.

Рассказ М. привел моего прадеда в состояние лихорадочного возбуждения. Той ночью он записывает в дневнике, как настоятельно уговаривал гостя незамедлительно послать за бумагами, невзирая на второй час утра. М. же относился к этой истории с известной долей скептицизма. «Американцы, – заявил он прадеду, – имеют склонность к подобного рода фантастическим бредням». Тем не менее он согласился принести бумаги на другой день. Но так случилось, что на завтра М. куда-то спешил и не остался обедать, а только занес бумаги ближе к вечеру. Перед уходом он известил прадеда, что не раз их просматривал и что «смысла там нет ровным счетом никакого». Он и представить не мог, до какой степени недооценивает математический дар прадеда. За стаканчиком хереса у камина в гостиной друзья договорились отобедать вместе в конце недели, в субботу. На протяжении последующих трех дней мой прадед позволяет себе оторваться от изучения хантеровских теорем лишь на еду и сон. Все остальные темы из дневника пропадают. Страницы испещрены расчетами, диаграммами и символами. Складывается впечатление, что Хантеру понадобилось изобрести новый набор символов, практически новый язык для выражения своих идей. На исходе второго дня мой прадед приходит к первому ключевому выводу. Внизу страницы под длинным столбцом

математических выкладок он записывает: «Многомерность – функция сознания». Обратившись к заметкам следующего дня, я прочитал: «...исчез у меня в руках». Он заново открыл пространство, лишённое поверхности. И вот со страниц на меня смотрели подробнейшие инструкции о том, как надо складывать лист. Читая дальше, я вдруг догадался о причине внезапного исчезновения М. Нет сомнений, что в тот вечер, поддавшись на уговоры прадеда, он принял участие в научном эксперименте, к которому, скорее всего, продолжал относиться крайне скептически. Ибо на следующих страницах прадед сделал ряд небольших набросков, похожих на позы йоги. Совершенно ясно, что в них-то и заключалась разгадка исчезновения Хантера.

Дрожащими руками я освободил место на своем рабочем столе. Взял чистый лист машинописной бумаги и положил перед собой. Принес из ванной бритвенное лезвие. Нашел в выдвижном ящичке старенький циркуль, заточил грифель и вставил в него. Перерыв весь дом, отыскал свою любимую стальную линейку, которой однажды пользовался для уплотнения щелей в оконных рамах, – теперь все было готово. Первым делом следовало обрезать бумагу до нужного размера. Лист, который Хантер так небрежно взял со стола, был, несомненно, подготовлен им заранее. Длина сторон должна отражать определенную пропорцию. С помощью циркуля я нашел центр листа и через эту точку провел линию, параллельную одной из сторон, вплоть до нижней границы. Затем мне надлежало начертить прямоугольник, размеры которого находились в определенном соотношении с длинами сторон листа. Центр прямоугольника должен был оказаться на вышеупомянутой линии, разделив ее в пропорции золотого сечения. Из вершин прямоугольника я прочертил пересекающиеся дуги (опять же в строгом соответствии с заданными параметрами). Операция была повторена из нижних углов прямоугольника, и, соединив две точки пересечения, я получил линию надреза. Затем я взялся за линии сгибов. Казалось, что их длина, угол наклона и точки пересечения с другими линиями выражают некую загадочную внутреннюю гармонию цифр. Рисуя пересекающиеся окружности, прочерчивая линии и производя сгибы, я догадывался, что вслепую оперирую системой высших, устрашающих знаний – математикой Абсолюта. К моменту, когда я завершил последний сгиб, мой лист приобрел форму геометрического цветка с тремя concentрическими лепестками вокруг надреза. В этой конструкции было нечто настолько идиллическое и совершенное, настолько недостижимое и привлекательное, что, вглядываясь в нее, я ощутил, как погружаюсь в состояние легкого транса, как просветляется и отключается мозг. Я встряхнул головой и отвел взгляд. Настала пора выворачивать цветок наизнанку, протягивать его сквозь надрез. Операция требовала точности, а у меня снова дрожали руки. Но достаточно было вновь посмотреть на мою



конструкцию, как я сразу же успокоился. Большими пальцами я начал подталкивать лепестки бумажного цветка к центру и почувствовал онемение в затылке. Я еще подтолкнул – на мгновение бумага стала прозрачнее, а затем вроде и вовсе исчезла. Я говорю «вроде», ибо в тот момент не был уверен, чувствую ли ее у себя в руках, несмотря на то что не вижу, или вижу, несмотря на то что не чувствую, или чувствую, что она исчезла по сути, но сохранилась во плоти. Онемение распространилось уже по всей голове и на плечи. Казалось, мои чувства были неспособны в полной мере воспринять происходящее. «Многомерность – функция сознания», – подумал я. Соединив руки, я убедился, что между ними ничего нет, но даже вновь разведя их, не мог с уверенностью сказать, действительно ли цветок исчез. Остался бесплотный оттиск, зрительное ощущение, причем не на сетчатке глаза, а непосредственно в мозгу. И тут за моей спиной открылась дверь, и Мейси сказала:

– Чем это ты занимаешься?

Точно из сна, я возвратился в комнату к почти выветрившемуся запаху формалина. Расправа с капитаном Николсом теперь казалась чем-то бесконечно далеким, но запах возродил негодование, стремительно вытеснявшее онемение. Мейси стояла, привалившись к косяку в проеме двери, закутанная в теплое пальто и шерстяной шарф, совсем чужая. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы негодование перешло в знакомое тупое раздражение – синдром усталости от нашей совместной жизни. Я подумал: зачем она разбила колбу? От желания физической близости? Потому что хотела пенис? Или, приревновав к дневникам, решила уничтожить символ, связывавший их с моим прадедом?

– Зачем ты это сделала? – непроизвольно вырвалось у меня.

Мейси хмыкнула. Открывая дверь, она увидела, как я сижу, склонившись над столом, и смотрю на руки.

– Ты так и просидел тут весь день? – спросила она. – Никак не забудешь его? – Она захихикала. – Куда он делся-то? Ты ему отсосал?

– Я его похоронил, – сказал я. – Под геранями.

Она сделала несколько шагов в мою сторону и сказала без тени иронии:

– Ну, не права я, знаю, что не права. Сама не понимаю, как получилось. Ты меня прощаешь?

Я медлил с ответом, пока мое раздражение не сменилось внезапным озарением, и тогда сказал:

– Конечно, прощаю. Тоже мне: какой-то маринованный член.

И мы оба засмеялись. Мейси подошла еще ближе и поцеловала меня в губы, и я ответил на ее поцелуй, протиснув язык ей в рот.

– Ты голодный? – спросила она, когда мы вдоволь нацеловались. – Ужин приготовить?

– Да, – сказал я. – Я бы не отказался.

Мейси чмокнула меня в макушку и вышла из комнаты, а я вернулся к своим занятиям, решив, что в этот вечер буду с ней особенно нежен.

Позднее мы сидели на кухне за приготовленной Мейси едой, чуть хмельные от распитой бутылки вина. Мы выкурили косячок – впервые за очень долгое время. Мейси рассказывала мне про то, что собирается поступить на работу в Министерство лесной промышленности и поедет озеленять Шотландию этим летом. А я рассказывал Мейси про то, как М. и прадед обсуждали а posteriori, и про теорию прадеда, согласно которой количество позиций для занятий любовью не может превысить простое число семнадцать. Мы оба рассмеялись, и Мейси стиснула мою руку, и зов плоти стал отчетливо различим в уютной духоте кухни. Затем мы оделись и пошли гулять. Луна была почти полной. Мы брели вдоль шоссе, на которое смотрят наши окна, а потом свернули в узкую улочку с жавшимися друг к дружке домами с ухоженными крошечными палисадниками. Мы почти не разговаривали, но держались за руки, и Мейси призналась, что она здорово поплыла от косячка и совершенно счастлива. Мы дошли до небольшого парка, который оказался закрыт, и постояли перед воротами, любуясь луной сквозь почти сплошь голые ветки. Вернувшись домой, Мейси, не торопясь, приняла ванну, а я снова уединился в кабинете, чтобы уточнить кое-какие детали. Спальня у нас теплая и удобная, даже по-своему роскошная. Кровать два десять на два сорок – я смастерил ее своими руками в первый год нашего

замужества. Мейси сшила простыни, покрасила их в глубокий темно-синий цвет и расшила кружевами наволочки. Единственная лампа светит из-под абажура из грубой вытертой козлиной кожи – Мейси купила ее у старьевщика, ходившего по домам. Я давно потерял интерес к нашей спальне. Мы опустились рядом в мешанину из пледов и простыней – Мейси, исполненная сладострастия и неги после своей ванны, вытянувшись во весь рост, а я, нависнув над ней на локте. Мейси сказала:

– Я сегодня гуляла вдоль реки. Деревья такие красивые, дубы, вязы... Километрах в полутора за пешеходным мостом есть два европейских бука, ты просто обязан на них взглянуть... о-о-о, как приятно...

Я перевернул ее на живот и гладил по спине, пока она говорила.

– Там растет ежевика, громадные кусты, я таких и не видела никогда, прямо вдоль дороги, и бузина тоже. Я осенью вино сделаю...

Наклонившись, я поцеловал ее в загривок и заломил руки за спину.

Ей нравилось, когда инициатива в постели принадлежала мне, и она не сопротивлялась.

– А река, знаешь, такая спокойная, – продолжала Мейси. – И деревья в ней отражаются, листву роняют. До зимы надо нам вместе туда сходить, к реке, в листву. Я там одно место нашла... О нем никто не знает...

Одной рукой я удерживал локти Мейси в нужном положении, а другой подтягивал к «обручу» ее ноги.

– Я там полчаса простояла не шевелясь, точно дерево. Водяную крысу видела на другом берегу, и утки разные то садились на воду, то взлетали. И еще звук был такой, будто плещется кто-то в реке, а кто – так и не поняла, и две оранжевые бабочки совсем рядом порхали, прямо у руки.

Когда я управился с ее ногами, Мейси сказала:

– Позиция номер восемнадцать.

И мы оба беззвучно засмеялись.

– Давай пойдем завтра к реке, – сказала Мейси, пока я осторожно подталкивал к локтям ее голову. – Тише, тише, больно! – вдруг вскрикнула она и попробовала сопротивляться.

Но было поздно: ее голова и ноги находились внутри обруча из рук, и я уже толкал их навстречу друг другу.

– Что происходит? – взвизгнула Мейси.

В этот миг в расположении ее конечностей воплотились головокружительная красота, благородство человеческих форм и, как совсем недавно в бумажном цветке, завораживающая сила симметрии. Я понял, что вновь впадаю в транс, ощутил, как немеет затылок. Чем дальше проходили через обруч ноги и голова, тем больше казалось, будто Мейси выворачивается наизнанку, словно носок.

– О боже, – выдохнула она. – Что происходит?

И голос ее прозвучал точно издалека.

Ее вроде и не было... А вроде она и была. Откуда-то едва слышно донеслось: «Что происходит?» – и потом не осталось ничего, только эхо ее вопроса, дрожавшее над темно-синими простынями.

По-домашнему

Как сейчас вижу нашу тесную, пересвеченную ванную и Конни с наброшенным на плечи полотенцем, сидящую на краю ванны, зареванную, и себя, наполняющего раковину теплой водой, насвистывающего (вот в каком был восторге) «Teddy Bear» Элвиса Пресли, как сейчас помню (и всегда сразу же вспоминал) ворсинки от махрового покрывала, кружащиеся на поверхности воды, но лишь недавно пришел к выводу, что если считать это концом определенной главы (насколько можно говорить о конце применительно к главам реальной жизни), то Раймонд был, так сказать, ее началом и серединой,

а если в людских делах не существует глав, то я буду настаивать, что рассказ этот про Раймонда, а вовсе не про девственность, коитус, инцест и рукоблудство. Поэтому позвольте начать с того, что судьба явно подтрунивала надо мной (смысл этих слов станет ясен намного позднее – наберитесь терпения), доверив из всех людей именно Раймонду открыть мне глаза на мою девственность. В Финсбери-парке однажды Раймонд подошел ко мне и, затащив в заросли каких-то лавровых кустов, загадочно согнул и разогнул палец перед моим носом, пристально следя за реакцией. Я смотрел не мигая. После чего повторил его жест, согнув и разогнув свой палец, и увидел, что сделал правильно, потому что Раймонд расплылся в улыбке.

– Сечешь? – сказал он. – Сечешь!

Его возбуждение передалось мне, и я сказал: «Да», надеясь, что теперь он отстанет и можно будет сгибать и разгибать палец, ища объяснение этой невразумительной перстовой аллегории, в одиночестве. Раймонд схватил меня за лацканы с несвойственной ему порывистостью.

– Ну и что тогда, а? – выдохнул он.

Стараясь выиграть время, я снова согнул средний палец и стал медленно его выпрямлять, нахально и уверенно – до того нахально и настолько уверенно, что у Раймонда перехватило дыхание и весь он как-то напрягся. Я посмотрел на свой эрегированный палец и сказал: «Посмотрим», – гадая, суждено ли мне сегодня узнать, о чем, собственно, речь.

Раймонду было пятнадцать, на год больше, чем мне, и хотя я считал, что превосхожу его по умственным способностям (почему и сделал вид, будто понимаю значение его жеста), узнавал про всякое первым Раймонд, и образовывал меня именно он. Раймонд посвящал меня в таинства взрослой жизни, которые сам постигал скорее интуитивно и никогда до конца. Мир, который он для меня открыл, все его головокружительные составляющие, премудрости и пороки, мир, где он исполнял роль своеобразного конферансье, самому Раймонду не очень был впору. Он знал этот мир неплохо, но мир, так сказать, знать его не хотел. Поэтому, когда Раймонд впервые принес сигареты, я научился глубоко втягивать дым, выпускать его кольцами и складывать ладони чашечкой вокруг спички, как кинозвезда, а Раймонд только кашлял и неуклюже возился; и позже, когда он раздобыл немного марихуаны, о которой мне даже слышать не доводилось, я в конце концов докурился до эйфории, а Раймонд

признал (чего я бы на его месте никогда не сделал), что вообще ничего не почувствовал. И еще: хоть именно Раймонд с его низким голосом и пушком на подбородке покупал нам билеты на фильмы ужасов, он просиживал весь сеанс, заткнув уши пальцами и зажмурив глаза. Феноменально, учитывая, что за один только месяц мы посмотрели двадцать четыре фильма. Когда Раймонд украл бутылку виски в универсаме, чтобы угостить меня спиртным, я два часа пьяно хихикал над его судорожными приступами рвоты. Мои первые длинные брюки сначала были брюками Раймонда – его подарок на мое тринадцатилетие. Раймонду они, как и все его брюки, не доставали до щиколотки сантиметров десять, топорщились на бедрах, висели мешком в паху, а теперь, точно парабола нашей дружбы, сидели на мне, как влитые, были настолько удобны, до того хороши, что я проходил в них целый год, не снимая. Затем настала увлекательная пора магазинных краж. План в изложении Раймонда был сравнительно прост. Входишь в книжный магазин «Фойлз», набиваешь карманы книгами и несешь их к перекупщику на Майл-Энд-роуд, который всегда рад приобрести их за полцены. Для первого раза я позаимствовал отцовский плащ, по пути к магазину восхитительно волочившийся по тротуару. Раймонд ждал меня у входа. Он был в рубашке с коротким рукавом – пальто забыл в метро, – но заверил, что и без пальто справится, поэтому мы вошли. Пока я набивал свои многочисленные карманы небольшими сборниками общеизвестных стихов, Раймонд пытался закамуфлировать у себя на теле семитомник Эдмунда Спенсера с комментариями. Любому другому на его месте поступок мог сойти с рук хотя бы по причине его отчаянной смелости, но у Раймонда даже смелость была сомнительная, больше похожая на полное пренебрежение обстоятельствами. Заместитель заведующего вырос за спиной Раймонда, едва тот начал снимать книги с полки. Оба они стояли у дверей, когда я проскользнул мимо со своим грузом, успев заговорщически ухмыльнуться Раймонду (по-прежнему в обнимку с томами) и поблагодарить заместителя заведующего, который машинально распахнул для меня дверь. К счастью, неудавшаяся кража Раймонда выглядела настолько бессмысленно, а его оправдания – до того идиотскими и самоочевидными, что заведующий в конце концов его отпустил, видимо, и впрямь приняв за психически ненормального.

И наконец, пожалуй, самое важное: Раймонд открыл для меня сомнительные прелести мастурбации. Мне было двенадцать – заря моего сексуального дня. Мы обследовали подвал старого разбомбленного дома в надежде найти что-нибудь, оставленное его обитателями, как вдруг Раймонд приспустил штаны, точно собираясь пописать, и начал с невообразимым энтузиазмом надраивать свой член, приглашая и меня последовать его примеру. Я последовал, и вскоре по всему телу разлилась теплая смутная истома, показалось, будто плыву и

одновременно оплываю, будто все мои внутренности могут в любой момент истаять дотла. И все это время мы наяривали не покладая рук. Я уже начал было поздравлять Раймонда с открытием такого простого, дешевого и приятного способа коротать время, параллельно размышляя над тем, не посвятить ли всю свою жизнь этому божественному ощущению (и сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что в определенном смысле именно так и поступил), и еще всякой всячины собирался наговорить, как вдруг меня точно приподняли за шиворот, руки, ноги, кишки вытянули, скрутили, отжали, выдавив в результате два солидных плевка спермы, которые угодили на воскресный пиджак Раймонда (было воскресенье) и стекли в его нагрудный карман.

- Эй, - сказал он, сбившись со своего ритма, - ты зачем это сделал?

Не успев прийти в себя после только что пережитого сокрушительного потрясения, я не сказал ничего. Просто не мог.

- Я тебя такой вещи учу, - разглагольствовал Раймонд, стряхивая щелчками переливающуюся субстанцию с темной ткани своего пиджака, - а ты только и можешь, что плевать.

Таким образом, к четырнадцати годам я постиг под руководством Раймонда множество наслаждений, которые по праву считал принадлежностью взрослой жизни. Я смолил по десять сигарет в день, пил виски, когда удавалось им разжиться, был знатоком по части насилия и оскорблений, курил пьянящую смолу *cannabis sativa* и сознавал свою рано наставшую половую зрелость, хотя, как ни странно, никогда не пытался найти ей достойное применение - страсти и тайные фантазии еще не успели напитать воображение. И все эти занятия оплачивались дельцом на Майл-Энд-роуд. В формировании этих пристрастий Раймонд был моим Мефистофелем, неуклюжим Вергилием для моего Данте: он указал мне путь в рай, куда ему самому дорога была заказана. Он не курил - сигареты вызывали у него кашель, виски - тошноту, в кино ему было или страшно, или скучно, травка на него не действовала, и, пока я усеивал сталактитами потолок подвала в старом разбомбленном доме, он не мог извергнуть из себя ничего.

- Не исключено, - сказал он мрачно, покидая однажды подвал, - не исключено, что я просто перерос это дело.

Вот почему, когда Раймонд замер напротив, сосредоточенно сгибая и выпрямляя палец, я почувствовал, что стою на пороге еще одной устланной мехом залы в том громадном, сумрачном и манящем особняке, куда пускают лишь взрослых, и что если я чуть-чуть выжду, скрывая из гордости свою невежественность, то Раймонд вскоре все объяснит, а вслед за этим я его перещеголяю.

- Посмотрим...

Мы пошли через Финсбери-парк, где Раймонд в давние, озорные времена кормил голубей стеклянным крошевом, где с невинным наслаждением, достойным «Прелюдии»[6 - Поэма Уильяма Вордсворта (1770-1850), написанная белым стихом.], мы вместе заживо запекли волнистого попугайчика Шейлы Харкерт, лежавшей тут же, на лужайке, в глубоком обмороке, где мальчишками мы прятались в кустах и забрасывали камнями парочки, трахавшиеся в беседке, - через Финсбери-парк, и Раймонд сказал:

- Кого ты знаешь?

Кого знаю? Я еще не разгадал первый ребус, а это уже мог быть второй - Раймонд отличался рассеянностью. И я сказал: «Кого ты знаешь?», на что последовал ответ: «Лулу Смит», мгновенно все разъяснивший (во всяком случае, предмет разговора, ибо степень моей невинности не поддается описанию). Лулу Смит! Крошка Лулу! Одно имя обвивает мои яйца влажной ладошкой. Лулу Лямур, про которую говорили, что она готова на все и чем уже только не занималась. Были шутки про евреев, шутки про слонов и шутки про Лулу - им-то она и обязана своей невообразимой репутацией. Лулу-худышка (как раскручивается маховик памяти!), чья физическая невероятность сопоставима лишь с невероятностью приписываемой ей половой ненасытности и умений, ее сальность - с низостью пробуждаемых ею чувств, миф о ней - только с реальностью. Зулуска Лулу! - оставившая в северном Лондоне (если верить легенде) череду брызгающих слюной идиотов, пугающий ряд разрушенных судеб и членов на всем протяжении от Шепердз-Буш до Холлоуэй-роуд, от Онгара до Ислингтона. Лулу! Ее сотрясающиеся тела и смеющиеся пороссячи глазки, пышные ляжки и перемычки на пальцах, это ходячее, пыхтящее нагромождение плоти, замаскированное под школьницу, которую с кем только молва не спаривала, включая жирафа, колибри, больного внутри «железного легкого»[7 - Изобретенный в начале прошлого века аппарат искусственной вентиляции легких, представлявший собой тяжелый железный ящик со стеклянной колбой наверху. Больного вдвигали внутрь и закрывали, как в



скафандре.] (который по завершении акта умирал) яка, Кассиуса Клея[8 - Настоящее имя знаменитого боксера Мохаммеда Али.], мартышку, батончик «Марса» и рычаг для переключения скоростей в «Моррис Майноре»[9 - Малолитражка британской автомобильной компании «Моррис», впервые выпущена в 1948 г.] ее дедушки (место которого затем занимал дорожный инспектор).

Финсбери-парк был пропитан духом Лулу Смит, и во мне впервые проснулись пока еще неясные желания, не говоря уж о любопытстве. Приблизительные представления о том, как это делается, у меня были, ибо кто, как не я, видел совокупляющиеся парочки во всех углах парка в долгие летние вечера, кто, как не я, бросал в них камни и водяные бомбы, - в чем теперь суеверно раскаивался. И внезапно там, в Финсбери-парке, лавируя меж кучек свежего собачьего дерьма, я осознал и возненавидел свою девственность; я догадывался, что это последняя запертая комната в особняке, догадывался, что она наверняка окажется самой роскошной, обставленной еще тщательнее, чем все предыдущие, ее чары - еще более губительными, и тот факт, что я в нее до сих пор не проник, не был, не состоял, не участвовал, означал полнейшую анафему, позорное клеймо на лбу, - и хотелось, чтобы Раймонд, по-прежнему державший перед моим носом свой стоявший торчком средний палец, поскорее объяснил, что делать. Раймонд наверняка знал...

После школы мы с Раймондом приходили в кафе возле кинотеатра «Одеон» рядом с Финсбери-парком. Пока наши ровесники ковыряли в носах над коллекцией марок или домашним заданием, мы с Раймондом часами просиживали здесь, обсуждая в основном простейшие способы заработка и попивая чай из огромных кружек. Случалось, мы болтали с рабочими, которые туда заходили. Жаль, там не было Милле[10 - Джон Эверетт Милле (1829-1896) - английский художник-прерафаэлит, ставший в зрелые годы популярным автором сентиментальных жанровых сценок. Фамилию его (Millais), произносящуюся на французский манер, по-русски часто пишут как Миллес.], чтобы запечатлеть, как мы слушали с открытыми ртами их заумный вздор и небылицы про сделки с водителями грузовиков, свинец с церковных крыш[11 - Многие церкви в Англии в старину крыли свинцовыми крышами. С ростом цены на свинец в начале - середине XX в. так называемые «кражи крыш» приобрели характер эпидемии.], кражу топлива из Инженерно-строительного департамента, и потом про лобки, промежности, баб, про поглаживания, порку, еблю, отсосы, про жопы и сиськи, сзади, сверху, снизу, спереди, с, без, про царапанье и отрыванье, лизанье и испражнение, про пиздищи сочные, сочащиеся, теплые, бездонные и, наоборот, фригидные, высушенные, но все

равно стоившие того, про хуи старые и обмякшие или юные и неутомимые, про кончанье – слишком быстрое, слишком долгое или вообще не наступившее, про сколько раз в день, про сопутствующие болезни, про гной и набухание, язвы и горести, про загубленные яичники и усохшие яйца; мы слушали про то, кого и как ебут мусорщики, кому вставляют молочники, что случается употреблять углекопам, кого доводилось укладывать ковроукладчику, что бывает плотным у плотников, что может замерить землемер, откаблучить сапожник, вынюхать газовщик, прочистить водопроводчик, подсоединить электрик, ввести врач, добиться адвокат, впендюрить продавец мебели, и все в таком духе – дикое месиво из затасканных каламбуров, недвусмысленных намеков, формул, лозунгов, выдумок и похвальбы. Я слушал, не понимая смысла, запоминая и систематизируя лишь то, что со временем начну рассказывать сам, коллекционируя истории, касавшиеся извращений и сексуальных приемов, – по сути, целый свод норм сексуального поведения, так что, когда я наконец начал понимать, в меру своей неопытности, о чем все это, в моем распоряжении оказался полный набор необходимых знаний, которые (вкуче с наскоро проглоченными наиболее интересными пассажами Хэвлока Эллиса и Генри Миллера[12 - Хэвлок Эллис (1859–1939) – английский психолог и писатель, автор работ о сексуальных извращениях. Генри Миллер (1891–1980) – американский писатель, автор скандальных для своего времени интеллектуально-эротических романов о времени после Первой мировой войны («Тропик рака» и др.).]) создали мне репутацию несовершеннолетнего эксперта по вопросам коитуса, и десятки молодых людей (включая, к счастью, и дам) приходили ко мне за советами. И все это – а репутация сопровождала меня и в художественной школе, что весьма разнообразило мое обучение, – все это после одного-единственного перетраха, про который, собственно, и рассказ.

Итак, именно там, в кафе, где я столько всего выслушал, запомнил, но не понял, Раймонд согнул наконец средний палец, обвив им ручку своей кружки, и сказал:

– Лулу Смит показывает за шиллинг.

Это меня обрадовало. Обрадовало, что мы не летим очертя голову, что, оставшись наедине с Зулуской Лулу, я не обязан буду проделать то смутное и пугающее, о чем не имею представления, что первый этап такого важного любовного приключения будет носить ознакомительный характер. Не говоря уж о том, что за всю жизнь я видел только двух голых женщин. Порнографические фильмы, которые мы регулярно смотрели, в те дни были недостаточно порнографическими и демонстрировали лишь ноги, спины и экстатические лица

счастливых пар, оставляя дорисовывать опущенные детали нашему набухающему воображению; для пособия они не годились. Что же до двух голых женщин, то моя мать была необъятной и гротесковой, и кожа на ней висела, как на освежеванной жабе, а моя десятилетняя сестра – безобразной летучей мышью, на которую ребенком я с трудом заставлял себя смотреть, хотя частенько приходилось сидеть с ней в одной ванне. К тому же шиллинг – это почти ничего, учитывая, что мы с Раймондом были богаче большинства рабочих в кафе. Если уж на то пошло, я был богаче всех моих многочисленных дядей, богаче моего бедного, измученного работой отца, богаче любого из известных мне членов нашей семьи. Случалось, меня рапирало от смеха при мысли о том, как отец трудится по двенадцать часов на мучном заводе, как приходит вечером домой с измученным, обескровленным, раздраженным лицом, но еще смешнее было думать о тех тысячах, что каждое утро высыпали на улицу из одинаковых, таких же, как наш, домов, чтобы всю неделю провалялись, в воскресенье отдохнуть, а с понедельника снова добровольно тянуть ляжку на заводах, фабриках, лесопильнях и пристанях Лондона, возвращаясь со смены на день старше, на день измученнее, но ничуть не богаче; за кружками нашего чая мы с Раймондом ржали над этим величайшим надувательством – тасканием, копанием, бросанием, упаковкой, проверкой, потом, стопами ради выгоды других; над тем, как для самоуспокоения они привыкли видеть в этой каторге добродетель, как вознаграждали себя, если им удавалось прожить, не пропустив ни дня из этого ада; но уморительнее всего было то, как дядя Боб, или Тед, или отец преподносили мне в подарок один из своих потом и кровью заработанных шиллингов (а в исключительных случаях десятишиллинговую банкноту), – я ржал, ибо за один удачный поход в магазин зарабатывал больше, чем все они, вместе взятые, за неделю. Ржал, конечно, про себя – можно ли было глумиться над таким подарком! – особенно если учесть то очевидное удовольствие, которое они испытывали от процесса его вручения. Так и вижу, как один из моих дядей или отец расхаживает взад-вперед по нашей крошечной гостиной с монетой или банкнотой в руке, предаваясь воспоминаниям, сыпля историями и наставлениями о жизни, упиваясь ролью дарителя, исполненный счастьем настолько абсолютным, что при взгляде на него и тебя охватывает счастье. Они себя ощущали (и ненадолго действительно становились) благородными, мудрыми, рассудительными, добросердечными, широкими, а возможно – кто знает, – и чуточку святыми; патрициями, самыми мудрыми, наищедрейшим образом осыпающими сына или племянника плодами своей расчетливости и богатства, – они были богами в ими же созданном храме, и кто я такой, чтобы пренебрегать их дарами? Подгоняемые пинками под зад на своих фабриках по пятьдесят часов в неделю, они нуждались в этих гостиничных мираклях, этих мифических противостояниях Отца и Сына, и, понимая это, видя

всю ситуацию насквозь, я брал их деньги, даже немного подыгрывал, изнывая от скуки, приберегая веселость на потом, когда хохот вырывался из меня со стонами, доводя до слез и изнеможения. Сам того не сознавая, я был учеником, многообещающим учеником госпожи Иронии.

Шиллинг в те времена был не такой уж и большой платой за мимолетное обозрение предмета всеобщего умолчания, разгадки тайны тайн, Грааля плоти, манды Крошки Лулу, и я попросил Раймонда устроить просмотр как можно скорее. Раймонд все больше и больше превращался в администратора, супил брови с важным видом, лопотал про даты, время, места, платежи, вечно что-то подсчитывал на обратной стороне конверта. Раймонд был одним из тех редких людей, которые не только получают огромное удовольствие от процесса организации, но и органически к нему не способны. Я вполне допускал, что мы можем явиться не в тот день и не в то время, что возникнет неразбериха из-за оплаты или продолжительности просмотра, но одна вещь в конечном итоге была абсолютно гарантирована (пожалуй, даже с большей вероятностью, чем завтрашний восход) – то, что нам наконец будет явлен изысканный передок. Ибо жизнь, несомненно, благоволила Раймонду; хотя в те дни я еще не мог выразить этого словами, но уже догадывался, что во вселенской бухгалтерии личных судеб Раймонду выдали участь, диаметрально противоположную моей. Фортуна водила его за нос, возможно, даже нацепила шоры ему на глаза, но никогда не плевала в лицо, никогда специально не наступала на его экзистенциальные мозоли – все ошибки, потери, измены и раны Раймонда были в конечном итоге комичны, а не трагичны. Помню, как однажды Раймонд заплатил семнадцать фунтов за пятидесятиграммовый брикет гашиша, который оказался отнюдь не гашишем. Для покрытия убытков Раймонд отнес всю упаковку в одно популярное местечко в Сохо и попытался перепродать ее полицейскому в штатском, который, к счастью, не завел дело. В конце концов (в те времена уж по крайней мере), не было закона, запрещавшего торговлю спрессованным конским дерьмом, пусть и завернутым в фольгу. Потом был кросс. Раймонд бегал посредственно, но оказался в числе десяти других бегунов, отстаивавших честь школы на районных состязаниях. Я всегда отправлялся с ним. Не было такого вида спорта, за которым я наблюдал бы с большей добросердечностью, увлечением и восторгом, чем хороший кросс. Я обожал изможденные, перекошенные лица бегунов, когда они появлялись в коридоре из флажков, ведущем к финишу; особенно мне нравились те, что начинали маячить там после того, как первые человек пятьдесят уже финишировали, – эти выкладывались по полной, ведя отчаянную, дьявольскую борьбу за какое-нибудь сто тринадцатое место. Я смотрел, как, спотыкаясь, они дотягивают до заветной черты, как держатся за глотки, чтобы их не вырвало, как валяются, взмахнув руками, на

траву, и был уверен, что передо мной воплощенный пример тщетности человеческих усилий. Только первые тридцать участников могли на что-то рассчитывать в состязании, и стоило последним из них пересечь черту, как зрители начинали расходиться, предоставляя оставшимся вырывать победу у самих себя, – и именно в этот момент мой интерес просыпался по-настоящему. Не было ни судей, ни шерифов, ни хронометристов, а я все стоял у финишной черты в меркнувшем свете клонящегося к закату зимнего дня и смотрел, как отставшие бегуны плетутся к конечной отметке. Тем, кто упал, я помогал подняться, прикладывал носовые платки к их окровавленным носам, похлопывал по спине блюющих, массировал сведенные судорогами икры и ступни – ну, просто сама Флоренс Найтингейл[13 - Флоренс Найтингейл (1820-1910) – сестра милосердия и общественный деятель Великобритании, прославилась во время Крымской войны. В 1912 г. Лига Международного Красного Креста и Красного Полумесяца учредила медаль ее имени – до сих пор самую почетную и высшую награду для сестер милосердия во всем мире.], с той только разницей, что я испытывал настоящий восторг, радостное возбуждение от торжества силы духа этих слабаков, доканывавших себя из чистого альтруизма. Как я воспарял, как все плыло перед глазами, когда после десяти-, пятнадцати-, даже двадцатиминутного ожидания на огромном унылом пустыре, со всех сторон окруженном фабриками, трубами, обшарпанными домами и гаражами, на холодном, усиливающемся ветру, приносившем с порывами отвратительную колкую морось, после ожидания в уже сгустившихся сумерках вдруг различал в дальнем конце пустыря бесформенную белую кляксу, медленно приближавшуюся к коридору флажков, подтверждавшую каждым шагом онемевшей стопы по мокрой траве свое микроничтожество в этом макром мире. И там, под свинцовым городским небом, точно затем, чтобы соединить всю сумму понятий о сложнейших процессах органической эволюции с понятием человеческого предназначения, в качестве наглядного пособия мне крошечная амебоподобная клякса в дальнем конце поля меняла форму, приобретая очертания человека, но не меняла цели, продолжала одержимо ползти, повинувшись бессмысленному стремлению достичь флажков, – сама жизнь, безликая, вопреки всему возрождающаяся из пепла жизнь, и, когда этот силуэт падал как подкошенный за финишной чертой, сердце мое ликовало, дух воспарял, устремляясь к ней в дерзком порыве вырваться из мерзких и губительных тисков раз и навсегда установленного миропорядка – Логоса.

– Невезуха, Раймонд, бывает, – подбадривал я его, протягивая свитер. – В следующий раз отыграешься.

И с бессильной улыбкой, в которой угадывалась твердая печальная мудрость Арлекино и Фесте[14 - Шут из комедии Шекспира «Двенадцатая ночь».], знающих, что именно Шут, а не Трагик обладает главным козырем, двадцать вторым Арканом, чья буква «Тоф»[15 - Тоф (?) – последняя, двадцать вторая буква еврейского алфавита.], чей символ «Sol»[16 - Солнце (лат.)], – с улыбкой, дрожавшей на его губах, когда мы покидали теперь уже почти целиком проглоченный мраком пустырь, Раймонд говорил:

– Ну, это же только кросс, забава для маленьких, сам знаешь.

Раймонд дал слово, что уже завтра после школы ознакомит божественную Лулу Смит с нашим предложением, и, поскольку в тот вечер меня обязали присматривать за сестрой, пока родители развлекались на собачьих бегах в Уолтемстоу, мы попрощались с Раймондом в кафе. По дороге домой я не мог думать ни о чем, кроме пизды. Она мерещилась мне в улыбке кондукторши, слышалась в уличном грохоте машин; я различал ее запах в вони гуталиновой фабрики, мысленным взором отыскивал под юбками шедших навстречу домохозяек, ощущал на кончиках своих пальцев, чуял в воздухе, рисовал в воображении за ужином – «жабой в норке»[17 - Классическое английское блюдо «toad-in-the-hole» – сосиски, запеченные в йоркширском пудинге.], которую заглатывал, точно приобщаясь к несусветному таинству, как если бы ел гениталии из сосисок и теста. И при этом по-прежнему не представлял, как выглядит настоящая пизда. Я посматривал на сестру через стол. Похоже, я малость преувеличил, назвав ее безобразной летучей мышью: она больше не казалась мне такой уж безнадежной уродиной. Зубы торчат, этого отрицать нельзя, но зато впалость щек в темноте можно и не заметить, а с вымытой головой, как сейчас, и вообще не такая уж страхолюдина. Поэтому неудивительно, что, приканчивая «жабу», я прикидывал, как можно было бы с помощью небольшого подкупа и, возможно, откровенной хитрости, пусть и всего на несколько минут, заставить Конни преобразиться из младшей сестры в – ну предположим – очаровательную молодую особу, кинозвезду, и слушай, Конни, почему бы нам не нырнуть в постель и не разыграть одну трогательнейшую сцену, давай-ка снимай свою идиотскую пижаму, а я пока потушу свет... И вооруженный этим знанием, полученным в выигрышной для меня атмосфере, я приду на встречу с великой и ужасной Лулу уверенным и развязным, и это холодящее кровь испытание покажется пустяком, и, кто знает, возможно, мне удастся отдрючить ее прямо там, в ходе просмотра.

Мне никогда не доставляло особой радости сидеть с Конни. Она была капризной, вечно требующей внимания, избалованной и постоянно хотела во что-нибудь играть, вместо того чтобы просто посмотреть телевизор. Обычно мне удавалось спроваживать ее спать на час раньше, переводя часы вперед. В тот вечер я перевел их назад. Едва мать с отцом ушли на собачьи бега, я спросил у Конни, в какую игру ей хотелось бы поиграть – она может выбрать любую.

– Не хочу с тобой играть.

– Почему нет?

– Ты весь ужин на меня пялился.

– Конечно пялился, Конни. Я же думал, во что бы мы могли поиграть, и поэтому смотрел на тебя, вот и все.

В конце концов она согласилась на прятки – я особенно настаивал на них, учитывая размеры нашего дома, в котором укрыться можно было только в двух комнатах, и обе были спальнями. Первой пряталась Конни. Я закрыл глаза и сосчитал до тридцати, постоянно прислушиваясь к шажкам в родительской спальне прямо надо мной, не без радости уловив скрип кровати – она зарывалась под пышное стеганое одеяло, бывшее ее вторым излюбленным укромным местом. Крикнув: «Иду искать!» – я начал подниматься по лестнице. На первой ступеньке я, кажется, еще крайне смутно представлял себе, что буду делать; возможно, просто разведу, пойму, где что, запомню схему расположения на будущее – понятно же, что ни в коем случае нельзя напугать младшую сестру, которая тут же расскажет обо всем отцу, а это гарантирует скандал, необходимость срочно выдумывать убедительные оправдания, крик, слезы и тому подобное, и как раз в момент, когда мне так нужна вся моя энергия для воплощения очередной навязчивой идеи. Однако по дороге наверх кровь отлила от чела к члену, можно сказать – буквально от разума к чувствам, и, переводя дыхание на верхней ступеньке, берясь влажной рукой за ручку ведущей в спальню двери, я твердо решил изнасиловать свою сестру. Мягко распахнув дверь, я почти пропел, растягивая слова:

– Конни-и-и, ты где-е-е-е?

В ответ на это она обычно хихикала, но сейчас не издала ни звука. Затаив дыхание, я на цыпочках подошел к кровати и пропел:

– Я зна-а-а-ю, где ты пря-а-а-чешься, – и, склонившись над выдававшим ее бугром под стеганым одеялом, прошептал: – Вот ты мне и попалась.

После чего начал медленно приподнимать тяжелое покрывало, по-отечески, почти с нежностью вглядываясь в теплую тьму под ним. Дуря от предвкушения, я наконец его откинул, и там, беспомощно и невинно вытянувшись передо мной, лежали родительские пижамы, и, не успев даже толком ни отпрянуть, ни удивиться, я получил такой бездумной силы удар в поясницу, какой может нанести брату только его родная сестра. Она и приплясывала от радости перед настезь распахнутой дверцей платяного шкафа.

– Я тебя видела, видела, а ты меня – нет!

Чтобы хоть как-то разрядиться, я пнул ее в голень и сел на кровать прикинуть, что дальше, а Конни, как легко догадаться, картинно плюхнулась на пол и изобразила пронзительный плач. Ее вопли довольно быстро мне надоели, и я пошел вниз, где попробовал читать газету, уверенный, что Конни долго ждать себя не заставит. И точно: она спустилась, все еще обиженная.

– Во что теперь поиграем? – спросил я.

Она присела на краешек дивана, надув губы, шмыгая носом и ненавидя меня. Я уже подумывал отказаться от своего плана и провести вечер перед телевизором, как вдруг мне в голову пришла одна мысль – мысль, безупречная по своей простоте, изяществу, ясности и форме, мысль, обреченная на успех, как костюм, сшитый на заказ известным портным. Есть одна игра, от которой все домашние, лишенные воображения маленькие девочки вроде Конни буквально тают, игра, в которую, едва научившись произносить нужные слова, она умоляла с ней поиграть, так что в отрочестве мне часто приходилось краснеть из-за ее прилюдных упрашиваний, искупавшихся лишь моими неизменными отказами; короче, это была такая игра, что я бы предпочел быть скорее сожженным заживо, чем чтобы кто-нибудь из моих друзей застукал меня за ней. Но теперь наконец настал час для игры в «дочки-матери».



Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Джеймс Хинтон (1822–1875) – знаменитый ушной хирург, автор многочисленных работ по медицине и социально-нравственным проблемам своего времени. (Здесь и далее прим. перев.)

2

Томас Мальтус (1766–1834) – английский священник и ученый, демограф и экономист, автор теории, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на Земле.

3

«Рыбий пузырь» (лат.) – фигура сакральной геометрии, которая получается при пересечении двух кругов одинакового радиуса, когда центр каждого круга лежит на окружности другого.

4

Одна из крупных лондонских улиц.

5

Графство, в котором находится город Мелтон-Моубрей.

6

Поэма Уильяма Вордсворта (1770–1850), написанная белым стихом.

7

Изобретенный в начале прошлого века аппарат искусственной вентиляции легких, представлявший собой тяжелый железный ящик со стеклянной колбой наверху. Больного вдвигали внутрь и закрывали, как в скафандре.

8

Настоящее имя знаменитого боксера Мохаммеда Али.

9

Малолитражка британской автомобильной компании «Моррис», впервые выпущена в 1948 г.

10

Джон Эверетт Милле (1829–1896) – английский художник-прерафаэлит, ставший в зрелые годы популярным автором сентиментальных жанровых сценок. Фамилию его (Millais), произносящуюся на французский манер, по-русски часто пишут как Миллес.

11

Многие церкви в Англии в старину крыли свинцовыми крышами. С ростом цены на свинец в начале – середине XX в. так называемые «кражи крыш» приобрели характер эпидемии.

12

Хэвлок Эллис (1859–1939) – английский психолог и писатель, автор работ о сексуальных извращениях. Генри Миллер (1891–1980) – американский писатель, автор скандальных для своего времени интеллектуально-эротических романов о времени после Первой мировой войны («Тропик рака» и др.).

13

Флоренс Найтингейл (1820–1910) – сестра милосердия и общественный деятель Великобритании, прославилась во время Крымской войны. В 1912 г. Лига

Международного Красного Креста и Красного Полумесяца учредила медаль ее имени – до сих пор самую почетную и высшую награду для сестер милосердия во всем мире.

14

Шут из комедии Шекспира «Двенадцатая ночь».

15

Тоф (?) – последняя, двадцать вторая буква еврейского алфавита.

16

Солнце (лат.).

17

Классическое английское блюдо «toad-in-the-hole» – сосиски, запеченные в йоркширском пудинге.

----

Купить: <https://telnovel.com/ru/ien-makyuen/pervaya-lyubov-poslednee-pomazanie>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)